

Двадцать шесть и одна — эпизод 2

из 7

Иной, тоскливо крикнув: Эх! поет, закрыв глаза, и, может быть, густая, широкая волна звуков представляется ему дорогой куда-то вдаль, освещенной ярким солнцем, широкой дорогой, и он видит себя идущим по ней...

Пламя в печи все трепещет, все шаркает по кирпичу лопата пекаря, мурлыкает вода в котле, и отблеск огня на стене все так же дрожит, безмолвно смеясь... А мы выпеваем чужими словами свое тупое горе, тяжелую тоску живых людей, лишенных солнца, тоску рабов. Так-то жили мы, двадцать шесть, в подвале большого каменного дома, и нам было до того тяжело жить, точно все три этажа этого дома были построены прямо на плечах наших...

Но, кроме песен, у нас было еще нечто хорошее, нечто любимое нами и, может быть, заменявшее нам солнце. Во втором этаже нашего дома помещалась золотошвейня, и в ней, среди многих девушек-мастериц, жила шестнадцатилетняя горничная Таня. Каждое утро к стеклу окошечка, прорезанного в двери из сеней к нам в мастерскую, прислонялось маленькое, розовое личико с голубыми, веселыми глазами и звонкий, ласковый голос кричал нам:

Арестантики! дайте кренделечков!

Мы все оборачивались на этот ясный звук и радостно, добродушно смотрели на чистое девичье лицо, словно улыбавшееся нам. Нам было приятно видеть приплюснутый к стеклу нос и мелкие, белые зубы, блестевшие из-под розовых губ, открытых улыбкой. Мы бросались открыть ей дверь, толкая друг друга, и вот она, веселая такая, милая, входит к нам, подставляя свой передник, стоит пред нами, склонив немного набок свою головку, стоит и все улыбается.

Длинная и толстая коса каштановых волос, спускаясь через плечо, лежит на груди ее. Мы, грязные, темные, уродливые люди, смотрим на нее снизу вверх, порог двери выше пола на четыре ступеньки, мы смотрим на нее, подняв головы кверху, и поздравляем ее с добрым утром, говорим ей какие-то особые слова, они находятся у нас только для нее. У нас в разговоре с ней и голоса мягче и шутки легче. У нас для нее все особое. Пекарь вынимает из печи лопату кренделей самых поджаристых и румяных и ловко сбрасывает их в передник Тани.

Смотри, хозяину не попадись! предупреждаем мы ее. Она плутовато смеется, весело кричит нам:

Прощайте, арестантики! и исчезает быстро, как мышонок.

Только... Но долго после ее ухода мы приятно говорим о ней друг с другом все

то же самое говорим, что говорили вчера и раньше, потому что и она, и мы, и все вокруг нас такое же, каким оно было и вчера и раньше... Это очень тяжело и мучительно, когда человек живет, а вокруг него ничто не изменяется, и если это не убьет насмерть души его, то чем дольше он живет, тем мучительнее ему неподвижность окружающего... Мы всегда говорили о женщинах так, что порой нам самим противно было слушать наши грубо бесстыдные речи, и это понятно, ибо те женщины, которых мы знали, может быть, и не стоили иных речей. Но о Тане мы никогда не говорили худо; никогда и никто из нас не позволял себе не только дотронуться рукою до нее, но даже вольной шутки не слыхала она от нас никогда. Быть может, это потому так было, что она не оставалась подолгу с нами: мелькнет у нас в глазах, как звезда, падающая с неба, и исчезнет, а может быть потому, что она была маленькая и очень красивая, а все красивое возбуждает уважение к себе даже и у грубых людей. И еще хотя каторжный наш труд и делал нас тупыми волами, мы все-таки оставались людьми и, как все люди, не могли жить без того, чтобы не поклоняться чему бы то ни было. Лучше ее никого не было у нас, и никто, кроме нее, не обращал внимания на нас, живших в подвале, никто, хотя в доме обитали десятки людей. И наконец наверно, это главное все мы считали ее чем-то своим, чем-то таким, что существует как бы только благодаря нашим кренделям; мы вменили себе в обязанность давать ей горячие крендели, и это стало для нас ежедневной жертвой идола, это стало почти священным обрядом и с каждым днем все более прикрепляло нас к ней.